Рина

Зеленая

разрозненные страницы

Моя биография

Моя биография

Рина Зеленая

Разрозненные страницы

«Издательство АСТ»

2016

УДК 82-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Зеленая Р. В.

Разрозненные страницы / Р. В. Зеленая — «Издательство АСТ», 2016 — (Моя биография)

ISBN 978-5-17-096315-7

Рина Васильевна Зеленая (1901–1991) хорошо известна своими ролями в фильмах «Весна», «Девушка без адреса», «Дайте жалобную книгу», «Приключения Буратино», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» и многих других. Актриса была настоящей королевой эпизода – зрителям сразу запоминались и ее героиня, и ее реплики. Своим остроумием она могла соперничать разве что с Фаиной Раневской.Рина Зеленая любила жизнь, любила людей и старалась дарить им только радость. Поэтому и книга ее воспоминаний искрится юмором и добротой, а рассказ о собственном творческом пути, о знаменитых артистах и писателях, с которыми свела судьба, – Ростиславе Плятте, Любови Орловой, Зиновии Гердте, Леониде Утесове, Майе Плисецкой, Агнии Барто, Борисе Заходере, Корнее Чуковском – ведется весело, легко и непринужденно.

УДК 82-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-096315-7

© Зеленая Р. В., 2016
© Издательство АСТ, 2016

Содержание

О Рине Зеленой 6
Вокзал 8
Дедушка 11
Бильярд 13
Семья 15
Крыша 19
Библиотека 20
Гимназия 21
Театральная школа 22
Театр «Крот» 24
Фамилия 28
«Нерыдай» 29
Конец ознакомительного фрагмента. 31

Рина Зеленая
Разрозненные страницы

© Р. Зеленая (наследники), 2016
© В. Ливанов, предисловие, 2016
© Киноконцерн «Мосфильм» (кадры из фильмов)
© РИА Новости
© ООО «Издательст во АСТ», 2016

В работе над книгой принимала участие *Злата Старовойтова*
Предисловие *Василия Ливанова*

В книге использованы фотографии из архивов Юрия Хмелецкого, РИА Новости, Киноконцерна «Мосфильм» и фондов Российского государственного архива литературы и искусства

* * *

Унывна осени пора,
Но день сегодняшний прекрасен:
На небе волны серебра,
И солнца диск блестящ и ясен.

Н. Гоголь

Мгновенье мне принадлежит,
Как я принадлежу мгновенью.

Е. Баратынский

О Рине Зеленой

Раздается телефонный звонок, и я слышу знакомый, такой любимый с детства голос: «Извините, что я вас застала».

Этой придуманной ею фразой Рина Васильевна Зеленая обязательно начинала любой телефонный разговор.

Окружающих порой удивляло, когда некоторые молодые люди называли ее не по имени-отчеству, а запросто – Рина. Но такое обращение к ней Рина установила сама. Люди, которые познакомились с Риной Васильевной еще в своем детском возрасте, должны были называть ее просто Рина, но на «вы». На «ты» ее звал только Никита Михалков, которого Рина Васильевна знала буквально с его рождения. Зачем она изобрела такую классификацию для обращения к ней – мне неизвестно. Я был подростком, когда моя мама представила меня Рине Зеленой: «Это Вася, ему десять лет». – «Десять лет! – воскликнула Рина. – Женя, дорогая, вы не успеете оглянуться, а у него уже вырастут усы».

В течение многих лет при каждой новой встрече Рина спрашивала меня: «А где усы? Я же обещала твоей маме, что у тебя моментально вырастут усы!»

Я давно ношу усы, и может быть подсознательно, благодаря Рининым настояниям.

Она любила изобретать всякие неожиданные фразочки «по случаю». Многие из них быстро утрачивали авторство, становились, как говорила Рина, «местами общего пользования».

На киносъемках часто можно услышать: «Кого ждем – сами себя задерживаем!»

Говорящие это даже не подозревают, что повторяют Рину Зеленую.

Эти веселые фразочки Рина вносила в тексты своих ролей: «У меня от вас каждую минуту разрыв сердца делается» или «Такие губы сейчас не носят» и тому подобные.

Еще Рина сочиняла уморительно смешные стихи. Так, для себя. Помню последние строчки стихотворения о кузнечике, которое она как-то продекламировала:

Зелененький кузнечик,
Кузнечик молодой,
Скачи скорей, кузнечик,
Скачи к себе домой!

В саду летают птички,
Все на тебя глядят.
И ведь никто не знает,
Когда его съедят.

Ее реакция на происходящее всегда была неожиданна, юмор – неподражаем.

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» снимались на киностудии «Ленфильм». Актеры-москвичи жили в гостинице. Как-то Рина позвонила из своего номера, чтобы узнать, какая сцена намечена к завтрашнему дню. Я ответил, что не знаю, мне никто не говорил. «В этой группе, – сказала Рина, – ничего никому никогда не говорят. Пора брать “языка”».

В ней жила огромной силы вера, что, несмотря ни на какие превратности жизни, все равно «все будет хорошо». И саму себя она представляла непременным участником этого «все хорошо».

Однажды, после запоздниившейся съемки, мы с Риной спешили на вокзал к московскому поезду. Маленький студийный автобус мчался по пустому в этот час Невскому проспекту, прихваченному мартовским ледком. Я сидел спиной к водителю. Рина устроилась в самом конце

салона, напротив прохода. Вдруг из переулка вылетело такси и ударило наш автобус в бок. Удар был такой силы, что Рину выбросило из сиденья, она пролетела через весь автобус и рухнула ко мне на колени, обхватив мою голову руками. И что она в этот момент выговорила? «Спокуха – я с вами!»

Книгу своих воспоминаний Рина Васильевна Зеленая назвала «Разрозненные страницы». На этих самых страницах автор воссоздала наиболее важные и дорогие ей эпизоды ее большой, насыщенной событиями жизни. Какое разнообразие лиц – и каких лиц! Какое богатство впечатлений! Но главное в этой книге, конечно, сама Рина Зеленая. Эти, как бы разрозненные, страницы объединяет цельность ее уникальной, талантливейшей личности, ее неподдельная доброта и прозорливое внимание к людям, к окружающему, быстро меняющемуся миру.

Мы как бы заново знакомимся с такой, казалось бы, знакомой и любимой нами Риной Зеленой. Еще одна, последняя незабываемая встреча!

Первое издание своей книги «Разрозненные страницы» автор надписала мне так: «Всё в порядке, мистер Шерлок Холмс? Рина Зеленая. XX век».

Всё в порядке, милая Рина. Всё будет хорошо. Только без вас временами так грустно!

Василий Ливанов, народный артист России

Вокзал

Вот я, например, терпеть не могу воспоминаний. Дневники – это правильно, это удивительно важный, мне кажется, литературный документ. И письма тоже. Михаил Кольцов мне как-то объяснял, что каждый человек должен по возможности записывать что-то о себе и о том, что кругом происходит. Даже если записывать, сказал он, ежедневно только погоду, эти записи – клад для тех, кто будет жить гораздо позднее. Правда, он ведь не знал, что спутники будут делать это лучше, чем люди.

Но воспоминания – это очень условно. Про то же самое один помнит одно, другой – совершенно другое.

Даже школьные годы не люблю вспоминать, когда пожилая тетка, совсем чужая, неузнаваемая, набрасывается на тебя, целует и в восторге начинает: «А помнишь?! Ты помнишь?!» А я ничего не помню.

А если иногда сам захочешь вспомнить что-то прекрасное, далекое, важное, вдруг неизвестно откуда наплывает совсем иное, страшное, о чем не хочешь ни думать, ни вспоминать.

Просыпаюсь как от толчка. Открываю глаза. Нет, я не сплю, я просто закрыла глаза, чтобы не видеть огромных окон этого страшного вокзала. Мы стоим или едем? Нет, мы уже не в поезде, а внутри вокзала. Как мы сюда попали – мама, сестра и я? Мы долго ехали из Москвы в набитом людьми вагоне. Поезд то шел, то останавливался. Но вот он остановился совсем; рано, на рассвете. Лютый мороз снаружи. Холодно в вагоне.

Потом пришли какие-то люди и сказали, чтобы все выходили немедленно, что поезд дальше никуда не пойдет. Все начали бегать в разные стороны, чтобы узнать, что же с нами теперь будет дальше. Даже наша мама, всегда решительная в своем легкомыслии, вдруг испугалась, притихла и со страхом смотрит на нас. А за окошком бегают люди и кричат что-то друг другу. Пар изо рта у них выходит клубами, каждое слово – как облако. Какой мороз!

На станции можно было уже ничего не узнавать. Те, кто приехал сюда раньше нас на день или на неделю, сидели в вокзале группами, подальше от огромных, постоянно открытых дверей, или лежали на полу в сыпняке. И никто ничего не знал. Какие-то люди уползали в город – то ли найдут спасение, то ли нет. И пронизывающий, леденящий холод. Как было тепло в холодном вагоне!

Всего ужаса нашего положения я еще не понимала. Мне не приходилось раньше отвечать за семью. Хотя мы с сестрой были уже взрослые девочки, но домашние, папины и мамины, всегда зависели от родителей во всем и даже слушались иногда. Я только сумела понять и решить, что надо сидеть у самой двери, куда сильный ветер даже заносил снег, чтобы быть подальше ото всех. Все равно лютый холод: что снаружи, что внутри – минус двадцать пять градусов. У двери никто не сядет рядом. Страшно заболеть сыпняком здесь.

Мама, маленькая, скорчившись, покорно дрожит под платком без всяких жалоб. И не потому, что она поняла, что нельзя было схватить из дома в Москве двух девочек и везти их к отцу «куда-то на юг».

В Москве мама получила от отца старое письмо, которое, видно, где-то долго блуждало, валялось два-три месяца невесть где. Отец обстоятельно писал из командировки, что его отправляют дальше, на юг, восстанавливать вещевые склады после разгрома белых, и звал нас к себе. Хотя определенного адреса у него пока нет, но он напишет позднее. Мама решила, что самое время ехать к отцу. Затолкав в чемоданы что попало, кроме теплых вещей (ведь мы едем на юг!), она велела мне добывать у начальства отца полагающиеся для проезда документы. Я храбро взялась за это, получила все нужные бумаги, неведомые мне дотоле «литеры» и направление семье к месту работы отца. Денег мне почему-то не дали. Но маму это не смутило ничуть: «Как-нибудь доберемся». И вот мы сидим. Мы уже не мерзнем, мы замерзаем. Я с

ужасом смотрю на посиневшее лицо сестры, хватаю ее маленькие леденеющие руки, растираю в своих замерзших ладонях.

Темнеет в вокзале. Гулкие звуки шагов теряются в высоких темных сводах. Где-то промелькнет фонарик, и станет еще темнее.

Опять пришли люди с носилками. Уносят кого-то, кто замерз, или того, кто кричит в жару сыпного тифа. Гулкие шаги. Очень страшно. Расталкиваю маму – спать нельзя: замерзнешь – унесут на носилках. Мне надо встать во что бы то ни стало. Нет, не встану: ноги в старых холодных ботинках (кто-то дал их мне еще в вагоне) будто примерзли к каменному полу, страшно больно.

Прежде чем я что-то услышала, осветился кусок стены. Потом откуда-то голоса. Громкие, решительные. Шаги. И свет приближается, яркий еще издали. Какие-то люди в военной форме проходят по другой стороне громадного зала. Проходят. Сейчас уйдут навсегда. Встать во что бы то ни стало. Сейчас, пока можно догнать… Вскакиваю на стеклянных ногах, бегу, догоняю. Безнадежно кричу:

– Послушайте!.. Остановитесь!

Люди замедляют шаги, освещают меня фонарем. И вдруг один из них пристально смотрит на меня. Он из Москвы и как-то видел меня в гостях у своих родных. И почему-то случайно запомнил.

– Что вы тут делаете, девочка?

Заикаясь, рассказываю. И вдруг чудо, как в кино: нас подбирают, ведут по бесконечным, обледенелым, заснеженным путям огромной территории харьковского вокзала. И почему-то мы спасены.

Тиф меня настиг позднее…

Вообще, дорогой читатель, я лично тебе эту книгу читать не советую. (Это, конечно, шутка. На самом деле я только и мечтаю, чтобы ты прочел все страницы до конца.) Вины моей нет, что я писала эту книжку. Поверишь ли, я сопротивлялась много лет, как могла, и никогда не думала, что сдамся. Но просили мои зрители, те, кто видел меня в фильмах или концертах, они были так добры ко мне, смею сказать, что они любили меня, прямо как будто я им родственница. Происходило это, может быть, потому, что всю жизнь я рассказывала им о детях.

Когда мои выступления стали передавать по радио, в редакции приходило много писем от взрослых. Дети не выступали тогда по радио. Вообще они не были в такой моде, как сейчас, когда они выступают как чтецы-исполнители, докладчики, комментаторы, дикторы, поздравители, разъяснители. Все удивлялись, услышав голос маленького ребенка по радио. Учительница, жившая в одном из отдаленных уголков страны, взволнованно писала: «Я включила приемник с опозданием и не слышала имени малыша, который так чудесно читал стихи. Это было необычайно. Я прошу вас немедленно написать, в чьих руках находится воспитание этого талантливого ребенка».

Мир ребенка был темой всей моей жизни. Дети присылали мне письма, рисунки, разговаривали со мной, а я потом рассказывала о них взрослым. Это всегда воспринималось зрителями с волнением и глубоким пониманием. И, встречая на улице людей, улыбающихся мне как-то особенно ласково, я понимала, что это их любовь к детям частично переносится на меня и что луч этой любви озаряет мою работу.

Поэтому зрители, мамы и дедушки, писали и писали в редакции и просили что-нибудь рассказать обо мне – откуда я взялась и зачем. И тут уж редакциям пришлось присылать ко мне корреспондентов и строго требовать от меня всех этих сообщений.

Есть вещи, которых человек иногда преодолеть не может. Я, например, не умею давать интервью. Да к тому же журналисты приходят с ящиком и микрофоном и суют его тебе под нос. Нет, это я написала грубо. По-правдашнему – это их работа. Они, бедные, ведь должны

узнавать о людях, спрашивать, записывать, а потом рассказывать всем то, что они узнали. А я, как увижу микрофон, начинаю заикаться и говорю не то, что хочу. И когда смотрю по телевидению, как другие люди отвечают на вопросы, думаю, что они тоже мучаются. Ну зачем спрашивать Майю Плисецкую, что именно она выбрала бы, какую профессию, если бы не была балериной! А для чего ей об этом думать, если она уже Плисецкая? Или спрашивают В. Коккинаки, кем бы он хотел быть, если бы не летал. А он – летчик-испытатель, который «учит» самолеты летать. Он испытывал все до одного самолеты Ильюшина. Их, братьев Коккинаки, было пять, и все – летчики.

Я так и не смогла ни разу заставить себя рассказывать. Да и какой смысл? Будешь долго и подробно объяснять кому-то о себе, а потом, когда напишут, все равно придется читать что-то не то и не так о тебе написанное и исправлять. Уж лучше писать самой, хотя нет у меня прекрасных записей, как у умных людей, о встречах, о впечатлениях, о природе, и только придется оправдываться, что страницы разрозненные, какие-то из них забыты, какие-то потеряны – может быть, еще найдутся. А писать нужно, и вот теперь каждый день приходится, как говорил В. Шкловский, «скрести перышком». А еще больше мне сегодня подойдут строчки Бориса Заходера:

Пиши, хоть царапай,
Как курица лапой,
Но все же царапай,
Царапай, царапай.

Дедушка

Много раз мне приходилось слышать такое мнение: самое трудное – это начать книгу воспоминаний. Самое трудное – начать. А потом все приходит само собой. Нет, я с этим не согласна. Как раз начать книгу очень просто. Можно, например, так: жила-была девочка… Правда, это, кажется, уже было, но это неважно, тем более что девочка действительно была и жила.

Жила в маленьком одноэтажном Ташкенте. Сейчас это трудно себе представить. Утопающий в садах, розах, звенящий арыками городок, с улицами, когда-то распланированными, видно, прекрасными архитекторами. Улицы прямые, широкие, хоть и с немощеными пыльными мостовыми, но с кирпичными тротуарами. А в старом городе, где живут узбеки, грязь непролазная, по щиколотку, или глубокая пыль, тонкая и легкая, как пух. Маленький ишак идет как в облаке между дувалами. А большая арба плывет как корабль по волнам: то вверх, то в глубокую яму. Узбек сидит высоко на арбе, красивый, с большим цветком за ухом, и поет от всей души обо всем, что видит кругом.

В городе все улицы засажены акациями или тополями, а на углах – карагачи с огромными кронами, дающими летом густую, непроницаемую тень в любую жару. Время от времени через город проходит караван верблюдов, часто с сидящими между горбами женщинами в паранджах и маленькими детьми – девочками в бесчисленных косичках или мальчиком с перышком в чубчике.

Вот тут и жила девочка. И можно рассказывать, как она жила-была, вспоминать про семью, про детские годы.

…В те времена никто никуда не переезжал: где люди рождались, там и умирали. И вдруг удивительное, невероятное дело: отца девочки переводят по службе из города Ташкента в город Москву.

Даже и не вспомнить теперь, что увезла девочка с собой, какие вещи из своего детства, в далекую Москву. Наверное, Чарскую с золотыми буквами на переплете и надписью: «В награду за отличные успехи».

Ездили тогда в поездах долго. Девочка сидела, опершись на руку, задумчиво смотрела в окно, тусклое, закрытое двумя рамами. Как будут жить они в Москве? Интересно, какие в Москве арыки, какие верблюды? И еще думала, что теперь уж долго не увидит дедушку. Он ее очень любил, и поездка к нему на праздники всегда была событием.

Ехали на извозчике – это первое удовольствие. Назывался дом «дача», потому что был громадный сад и ехать надо было по переулку, заросшему зеленью настолько, что ветви деревьев смыкались над головой извозчика. Приехали, вылезаем. Дом – обыкновенный, городской. Выходит дедушка, похожий, всегда казалось мне, на Тургенева из хрестоматии, очень ласковый со мной.

Внутри дома бабушка – не родная, дедушкина жена, высокая дама с прической. Еще в передней пахнет невыносимо вкусно. В столовой – праздничный стол. На белоснежной накрахмаленной скатерти – традиционный окорок, целиком запеченный дома, с золотой кожей, отвернутой, как крышка от коробки сардин, и приколотой особой большой острой вилкой; фаршированные куры и индейки; торты, мазуреки и пироги, готовившиеся каждой хозяйкой по-своему или по рецептам бабушек. У нас дома особым умением готовить подобные угощения отличалась мама, получавшая наивысшие похвалы от всех визитеров («Нет! Никто не умеет готовить это так, как Надежда Федоровна!»).

Немного погодя я уже сижу около дедушки на маленькой скамейке. Он гладит меня по голове, а я беру его руку и разглядываю. Рука белая, с голубыми выпуклыми жилками, мне

они казались похожими на реки в географическом атласе старшего брата, и это было очень красиво. Мне хотелось, чтобы у меня тоже были такие руки.

Еще тогда, в Ташкенте, читая все подряд, я нашла какой-то юмористический журнал и там увидела список общественных деятелей города (видно, это была сатира на них). И вдруг среди других я нахожу своего деда. Там было написано так: «Иван Кузьмич Зеленый – гласный в думе. Если бы не его цветная фамилия, был бы совсем бесцветным». Я была в восторге и долго гордилась дедушкой.

Бильярд

Это я рассказала, к примеру, как можно начать книгу. А можно и совершенно иначе.

…Двадцать шестой год. Я иду по набережной Ялты рядом с Владимиром Владимировичем Маяковским. Только мы не гуляем, как все, а идем по делу – в бильярдную. Странно, что он позвал меня: у него всегда огромный выбор первоклассных партнеров. Но ослушаться его я не могу, он и так чем-то расстроен.

Мне трудно объяснить, как я тогда относилась к Маяковскому Я видела его редко – на литературных вечерах или в Доме Герцена. При этом он всегда как-то по-доброму разговаривал со мной, а я, не знаю почему, не могла держаться с ним просто, как со всеми. Какая-то тревога всегда овладевала мной. Я старалась произносить что-нибудь «умное» и от этого казалась себе еще глупей. В Ялте я встречала В. Маяковского чаще. На этот раз я шла по набережной совсем в другую сторону, когда встретила его. Он сказал:

– Пошли в бильярдную!

Я повернулась и пошла.

Он шагает большими шагами. А я, воображая, что иду с ним в ногу, семеню, просто бегу, стараясь не отставать. Я хоть понимаю, кто идет рядом со мной, знаю, что это гений, но еще не восхищаюсь его стихами – я стала понимать их и любить позднее.

Здесь, в Крыму, Маяковский выступал на открытых сценах курзалов. Его слушали все, кто был в это время на крымских курортах. Мы, актеры, приглашенные для работы на ЮБК (Южный берег Крыма), работали повсюду. Нас навалом грузили в полуторки – пианистов и певцов, чтецов и балерин – и возили по всему побережью (Алупка, Симеиз, Алушта, Гурзуф). Но каждый старался попасть на вечер Маяковского.

И мне выпадало несколько раз счастье слушать его, слышать музыку неповторимого низкого голоса, видеть его удивительную манеру держаться, его спокойные, полные достоинства движения.

Обо всем об этом теперь написано сто тысяч слов. Я вспоминаю только мои ощущения того времени. Например, мне казалось, что спокойствие, которым дышало все его выступление, спокойствие и храбрость были как бы начинены изнутри тревогой, страхом, неуверенностью, как у дрессировщика в клетке с тиграми. Среди людей, купивших билеты на вечер, были и шакалы, и барышни, и хулиганы (хулиганство на литературных вечерах тогда считалось модным, как наличие собственного мнения о какой-нибудь литературной школе; «тявкали» даже отдельные барышни).

Актеры из Москвы, Ленинграда, Киева давали концерты в курзалах, и нам бывало страшно: ведь все внове, под открытым небом. Например, впервые появилось художественное чтение. Придумали тогда артисты – Яхонтов и другие – читать со сцены литературные фрагменты (Лескова, Чехова, Сейфуллину, Бабеля). Драматические актеры на вопрос, кто сейчас на сцене, насмешливо отвечали:

– Кто-то читает вслух.

Сейчас мастера художественного слова также необходимы людям и читают любимые наши страницы и по радио, и на сцене, и по телевидению, иногда целиком произведения Шолохова, Толстого, Айтматова.

Тогда еще не было ни микрофонов, ни вопящих девиц, ни электрогитар, ни фонограмм, ни Пахмутовой с Добронравовым. Было только право добиваться победы над зрителем, заставляя его чувствовать себя укрощенным и обогащенным. Все мы приезжали на гастроли без всяких гарантий: какие будут сборы, какая погода – ничего неизвестно. Нам давали жилье – какую-нибудь бывшую виллу, – и все мы, как перелетные птицы на сломанном грозой дереве,

размещались, устраивались, умывались в море, ели по талонам в столовке, все почти одинаковые босяки, что Яхонтов, что Блантер. И ни одного лауреата.

…Итак, мы с Владимиром Владимировичем входим в бильярдную. Там почти всегда одни и те же лица: курортники, актеры, кто-нибудь из писателей. Как всегда, накурено. Им что море, что погода – все равно. Они ждут очереди: столов мало. Кии – хотя есть хорошие – надо тоже ждать.

Появление Маяковского всегда событие. Играет он виртуозно. Его условия жестоки – заставляет по уговору лезть под стол проигравшего беспощадно, хоть ты лысый, хоть плачь: раз уговорились – пролезай под бильярдом во всю длину.

Сейчас в бильярдной человек шесть-восемь. Маяковскому сразу освобождают стол. С кем он хочет играть? Он заявляет:

– Я играю с Риной. Условия такие: играем американку. Она должна положить два шара, я – тринадцать. Если выигрываю я, все присутствующие ставят мне по бутылке вина. Если Рина – я всем по бутылке.

Положение у меня неприятное. Не потому, что условия игры вполне унизительные. Играю я, конечно, плохо, но все-таки довольно хорошо. Американка – это не пирамида. Американка – игра особая: если ты кладешь от шара «своего» – это считается шар. И если в лузу падает «дурак» – это тоже шар. Как же я могу проиграть? Фактически не могу. Если только Владимир Владимирович положит все тринадцать шаров подряд с одного кия.

Я разбиваю пирамиду от души, так, что шары разлетаются по всему столу. Маяковский, прищурив один глаз от дымящейся в углу рта папиросы, внимательно оглядывает другим глазом расположение шаров. У него свои расчеты. Он играет левой рукой. В это же время каким-то особенно элегантным движением он мелит мелком кончик кия. Маяковский начинает. Шары летят безошибочно. Подряд три в правый угол, два мягко, накатом, – в середину, от двух бортов – в угол, «свой» сам падает в середину, через весь бильярд – в левый дальний, еще одного «своего» ввинчивает в середину. Ему нельзя сделать ни одной ошибки. Но он ее делает. Все ахают. Я тоже не ожидала этого. Теперь дело за мной.

Я важно мелю кий, нечаянно кладу «своего» в середину и последний с треском на клопштоссе всаживаю в угол. Всё! Я, к сожалению, выиграла. Мне аплодируют, а я боюсь посмотреть на Владимира Владимировича. Потом оглядываюсь и вижу, что он улыбается. Он доволен. Плохое настроение как рукой сняло.

Семья

В нашей семье никто ни с кем не дружил. Были как бы составные части, которые, сложенные вместе, назывались семья. Мама и отец – совсем не подходящие друг другу люди. Аккуратный во всем, педантичный в мелочах незначительный интендантский чиновник-служака (было такое слово) берег каждую копейку более чем скромного жалованья. По воскресеньям отец сам ходил с тетей Пашей на базар, стараясь купить все как можно дешевле. А так как по-узбекски он говорил как узбек, торговцы смотрели на него восхищенно и сразу уступали цену.

Мама, очень молодая (ее выдали замуж шестнадцати лет), так и не привыкла к нему, старшему, в очках, несимпатичному, с усами и бородкой. Ее легкомыслие даже в те годы, когда это качество было присуще всем дамам, особенно молодым, было удивительным и поражало даже ее близких подруг. Не было в доме такой вещи, которую мама не могла бы отдать кому угодно. Это была вроде доброта, но удивительно бессмысленная. Нас, детей, она устраивала «на все сто», как говорят сейчас. Старший брат и сестра могли выпросить у нее деньги, данные отцом на хозяйство, чтобы купить себе холст и краски (они писали маслом, это было довольно дорогое удовольствие).

Вообще же все было «как у людей», как у их знакомых. Был даже инструмент – старшая сестра училась играть. Так было принято, чтобы девочки умели бренчать на пианино. Приходила учительница. Но сестра могла сбежать куда угодно, а чтобы урок не пропадал, заставляли учиться меня, поймав за шиворот где-нибудь на дереве. С тех пор я не могу привыкнуть любить музыку.

И так всё. Мама нанимала немку, но, когда та входила в дверь, брат вылезал в окно и исчезал. А денег было мало, и потом, зимой, мы с младшей сестрой оказывались без пальтишек, которые мама уже успела продать старьевщику.

Но когда во двор приходил продавец пирожных (они лежали в стеклянной витринке, подвешенной на ремне через плечо; продавец ставил ее на деревянную подставку, и все маленькие дети во дворе окружали его и смотрели не отрываясь на розовые, голубые воздушные кремы этих соблазнительных недоступных изделий), выходила наша мама и говорила:

– Ну, все возьмите по одному пирожному.

Продавец открывал стеклянную крышку, и мы долго выбирали и долго потом ели легкие кремы, протыкая их пальцем и облизывая руки, пока не исчезало все, оставляя лишь воспоминания о чем-то прекрасном. Мама расплачивалась с разносчиком, а потом наступала минута другой расплаты – отчет перед отцом в конце месяца, когда выяснялось, что у кого-то взяты деньги в долг, надо отдавать, что она уже продала материю, из которой он должен был сшить себе новую форму на будущий год, ну и так далее. Все это кончалось скандалом. Отец начинал кричать на нее вечером, и все это слышали – у всех открыты все окна во двор. Уже поздно, все спят, а он все кричит и кричит, то чуть потише («Я прошу тебя, не ори так громко», – умоляет мама), а потом еще громче, шагая от кровати до двери и обратно.

Соседи к этому привыкли. Это бывало раз в месяц или чуть реже.

Старшая сестра, барышня лет шестнадцати, далека от нас, как луна. У нее подруги, кавалеры, прическа, зеркало-трельяж – трехстворчатое на туалете; оно небольшое, но в него сестра может увидеть себя со всех сторон: и в профиль, и анфас. Смотреться нам в него нельзя и флаконы на туалете тоже нельзя трогать. Именно поэтому я часто смотрю на себя в зеркало с трех сторон, показываю себе язык и вижу его в профиль.

Сестра с братом не дружат, но о чем-то разговаривают. Оба рисуют, разное: она срисовывает открытки, где цветы и фрукты с каплями на них, брат – бурные моря с пеной и погибающими кораблями. Брат Иван – личность для нас непостижимая, загадочная, недосягаемая, с его товарищами, уходами в ночь на рыбалку, откуда он возвращается утром, увешанный зме-

ями, пугая тетю Пашу и всех ребят во дворе. У него свое убежище на балхане. Это сооружение на столбах, над сараем, вроде чердака. Влезать по деревянной, грубо сколоченной лестнице высоко. Туда, например, он сложит своих змей, которые потом все равно уползут в арыки. На нас, младших, он не обращает никакого внимания, как на котят.

Мама брата не ругает или скажет: «Вот придет отец – тогда узнаешь». Но вообще лозунг в доме, правило: «Не говорите отцу».

Когда папа, усталый, возвращается со службы, все должно быть уже мирно и улажено. Иначе – придется пороть ремнем Ивана. Это бывает редко, но неизбежно, касается только брата, но нависает, как грозовая туча, над всеми. Затем громкие крики, но не Вани, которого порют, а отца, который кричит на него, перечисляя все вины и проступки. Мы прислушиваемся, ожидая, когда это кончится и наступит прежнее относительное равновесие. Отец кричит громко, можно расслышать:

– Теперь тебя выгонят из реального училища! Кем ты собираешься быть?

Иван отвечает отчетливо, но непонятно для меня:

– Я думаю быть или шофером, или епископом.

Отец, видно, теряется от такой точной программы, выходит, хлопнув дверью и сказав сквозь зубы:

– Болван!

Мама с облегчением говорит:

– Ну, всё!

И уже тетя Паша несет самовар, и большой стол накрыт к вечернему чаю. Все сидят и мирно беседуют.

А так у нас всё «как у людей». Даже есть гостиная. Там стоит мебель, которая тогда казалась мне чудом красоты. Это был гарнитур, красный, плюшевый, очевидно, базарной работы, с резными черными спинками в завитушках «рококо» и с тонкими выгнутыми ножками на колесиках. Диван такой же, и кресла, и столик. Все хлипкое. Брат с товарищами особенно любят бороться именно там. Все ножки отлетают в разные стороны («Только не говорите отцу!» – вонючий столярный клей на плиту, и всё в порядке до следующего раза).

А на черной тумбочке – граммофон с огромной трубой, как сейчас в кино. Пластинки разбитые брат складывает под диван. Выбрасывает их тетя Паша. Я завожу еще пока не разбитые, на которых поет Вяльцева, рассказывают анекдоты, совсем не детские, Бим-Бом. Или, шлепая босыми ногами по желтому свежевымытому крашеному деревянному полу, пою во весь голос все, что хочу: «Гай да тройка», «Ветерочек», «Если женщина захочет, то поставит на своем».

Было во всем доме одно кроткое, доброе существо, готовое помочь каждому. Это была хрупкая белокурая девочка, моя младшая сестра. Она всем и во всем всегда уступала, даже не споря. Если что-то в доме у кого-то терялось, будь это учебник (она еще не училась, ей было шесть-семь лет), шахматная фигура (брата Ивана), или мамины ножницы, или нужная квитанция, звали ее:

– Зинаи-и-да! – и она мгновенно находила все, что просили.

Мы с ней, конечно, были пока заодно. Но я, как старшая и нахалка, помыкала ею особенно часто: иди, принеси, отдай. Если она сопротивлялась, я говорила:

– Считаю до трех! – и медленно начинала: – Ра-аз, два-а… – Она не двигалась. Тогда я начинала тянуть по буквам: – И т…р… – Больше она не выдерживала, срывалась с места и опрометью бежала выполнять требуемое.

Сестра не плакала, когда тетя Паша заплетала ей косы. Длинные русые волосы путались, но она терпела.

У нас не было детской. Старшая сестра помещалась отдельно. Брат спал в столовой. А мы с младшей сестрой – в комнате родителей. Когда мы ложились спать, а взрослые еще шумели в столовой, я говорила ей:

– Пойди закрой дверь!

Она возражала:

– Ведь тебе ближе! Закрой сама!

Я вставала и шла от своей кровати к двери, меряя шагами расстояние. Потом считала шаги от двери до ее кровати. Потом ложилась и говорила:

– От тебя на два шага ближе. Закрывай дверь! – И она закрывала.

Эта кротость потом приносила сестре много горя и не раз ставила ее в трудное, безысходное положение. Так, например, она ушла из Театра сатиры, не получая долгое время ролей, которые могла и должна была играть. Ушла не споря, не требуя, просто ушла. И перестала быть актрисой.

Предсказания отца насчет брата Ивана сбылись довольно быстро: он вылетел из реального училища. Последней каплей, переполнившей чашу терпения педагогического совета, был его ответ священнику. Батюшка спросил Ивана после Великого поста:

– А вы говели, Зеленый, причащались?

– Да, батюшка, – как-то легковесно ответил брат.

– В какой церкви? Где? – строго спросил законоучитель.

Иван несколько раз ткнул за спину, через плечо, большим пальцем и небрежно сказал:

– Там!

Когда Ивана исключили, у него остался единственный способ получить среднее образование – закончить кадетский корпус. Отец повез Ивана в Оренбург, и его приняли в корпус, который он всегда ненавидел (реалисты и гимназисты вечно дрались с кадетами на улице: «Кадет, кадет, на палочку надет»).

Теперь, когда брат уехал, я стала спать в столовой. Каждый день, просыпаясь, я видела, словно кадры в кино, как отец делал гимнастику «по Мюллеру» (тогда это входило в моду, и он делал «как все»). Со своей обычной педантичностью он ровно три минуты выполнял упражнения и, продолжая последний взмах правой рукой, подносил ее ко лбу, поворачивался в угол, к образу, и так же добросовестно начинал креститься, читая утреннюю молитву.

А вот что было не «как у людей». Прихожу я, приготовишка, из гимназии домой. Никого нет, можно не переодеваться (а то форму нужно беречь!). Наша Паша на кухне и плачет. Я думаю: наверно, письмо получила от своего «негодяя». (Я ей вечером пишу иногда письма. Она диктует: «Здравствуй, милый Вася. Как ты поживаешь? Ах ты, подлец эдакий, мерзавец, негодяй…» Я старательно вывожу свои каракули и не удивляюсь. В кухонном столе был выдвижной ящик, в нем лежали гвоздики, сломанный нож, облезлая вилка, конфеты в замусоленных бумажках. Паша давала мне одну, и она казалась мне вкуснее маминых.)

На этот раз Паша увидела меня, обняла и, вытирая глаза, запричитала:

– Ах ты, сиротиночка моя!..

Новое дело! Сиротиночка! Папа, мама живы-здоровы… Оказалось, мамы нет дома и долго не будет. Она уехала в Петербург. Паша что-то мне толковала, что «он ее довел», видно, имея в виду отца. Он опять долго кричал на нее, что денег не хватает, что долги, что детям нужны калоши, что сестра Мария купила какую-то шляпку и так далее. Надежда Федоровна, видя, что ей не выкрутиться и не оправдаться, заняла еще сколько-то рублей у соседей, купила билет, написала отцу письмо, села в поезд и махнула в Питер.

Это уж, конечно, событие, уж это не «как у людей». А папа еще ничего не ведает – он на службе. Вот придет, узнает и будет плакать.

Отец становится к нам с сестрой очень добрым, смотрит виновато, мажет нам горло глицерином с йодом, когда мы болеем, не ругает Ивана и пишет маме письма: просит, чтобы она вернулась, обещает, что все будет хорошо, что больше это не повторится. А мама все не едет. (Потом я собиралась узнать, куда и к кому она ездила, где жила, да так и не собралась.)

А происходило, я думаю, так. У мамы была подруга, белокурая, веселая дама с пышно взбитой прической. Она всегда громко смеялась, шутила с нами.

Мне казалось – необыкновенно смешно, что она вместо «л» говорила «р»: «Ареша, перестань, я Вороде скажу». Когда она приходила к маме, я непременно торчала тут же и ждала, когда Вавочка (так ее называла мама) начнет перед зеркалом распускать волосы, вытаскивая из пышной прически маленькие шпилечки. Вроде того, как взрослые во время обеда вытаскивают косточки из жареной рыбы (нам-то их вытаскивали заранее).

Потом дама уехала в Петербург, но приезжала на лето к родным в Ташкент и каждый раз, бывая у мамы, очевидно, соблазняла ее поехать проветриться в столицу. Подруга знала мамин нрав – ее можно было уговорить на что угодно. А там, я так думаю, Надежда Федоровна делала для Вавочки все: шила (она умела сшить платье за один день), готовила любое вкусное блюдо. Тем более что деваться ей в огромном городе было некуда.

Потом начинались переговоры в письмах, и папа посылал деньги на дорогу. Потом еще раз деньги на дорогу, и наконец наша мама возвращалась домой, веселая, оживленная, в каком-то радужном настроении, словно овеянная петербургским воздухом. Гости говорили:

– Похорошела! Пополнела!

Но нам-то все это было неважно, вернули нам нашу маму – и хорошо. В доме ничего не менялось, мама была как всегда: по-прежнему можно было утащить из шкафа любую кофту или шляпу, чтобы играть «в барыни»…

Крыша

Страшная жара. Ужаснейшая жарища. В общем, обыкновенный июльский день в Ташкенте. Я сижу в тени огромной акации, но не под ней, а на ней, довольно высоко над землей. Надо мной густая сень листьев. У меня здесь гнездо, как у обезьяны. Доска прочно лежит на раздвоенном стволе. Мы все, девочки и мальчики, лазаем по деревьям и крышам.

Двор у нас некрасивый. В старом Ташкенте повсюду садики, цветы во дворах маленьких одноэтажных домов. У нас – вытоптанная земля и четыре старых дерева.

Есть у меня зато земляная крыша над сараями, она обмазана саманом и весной покрывается травой и маками – это мой сад. Лазать мне туда по высокой деревянной лестнице запрещено, но за нами никто не смотрит, лишь бы не поймала мама случайно.

Сижу читаю. Никто меня тут не найдет. Хотя уже поздно, скоро обед. Читаю свою дорогую Чарскую. Пускай взрослые ее ругают: я, когда вырасту, буду читать только Чарскую. Слышу и не слышу, но, кажется, меня зовут. Наверное, давно ищут. Уже грозно кричит тетя Паша:

– Катерина!

Да, надо скорее. Спускаться с дерева довольно долго: там есть опасные места – большие расстояния между ветками, и кора акации шершавая, как кожа крокодила, здорово больно царапается (ведь мы всегда носимся босиком). Есть более скорый способ: по толстой ветке вперед пролезть и спрыгнуть на железную крышу, по ней бегом, потом еще кусок крыши, пониже, пробежать до ворот, лечь на живот, сползти на ворота, нащупать ногой большой засов, встать на него и спрыгнуть на землю около двери нашей квартиры…

Ползу по ветке вперед. Вот я над крышей, прыгаю и попадаю босыми ногами на раскаленное железо. Я кричу и бегу вперед, бегу и ору как сумасшедшая. Раскаленное железо огнем жжет ноги, но мне надо бежать вперед – только там спасение. Издаю страшные вопли и бегу. Все выбежали из квартир во двор, все что-то кричат. Но помочь мне нельзя. Я добегаю до ворот и лечу вниз, на множество подставленных рук. Меня ловят и несут домой. Даже не ругали – так все боялись, что я от боли сброшусь с высокой крыши. Ноги мне намазали какой-то мазью, даже не было волдырей. Ведь мы всегда бегали босиком, летом – кожа грубая.

Библиотека

Как я научилась читать – не помню. Во-первых, я думала, что умение читать приходит само, с возрастом, как растут косы, как заводятся подруги.

Я помню, что вход в библиотеку был с улицы, рядом с нашим крыльцом. Я сижу на высокой лестнице в комнате, рядом с той, где выдают книжки, разглядываю толстую книгу и читаю с трудом название: «Анна Каренина». Книжка не нравится. И буквы, и слова очень скучные, и шрифт не такой, как в других, моих книжках. Я лезу на лестницу повыше – я думаю: чем выше, тем книги наряднее и красивее.

Эта комната с маленьким окном, в ней довольно темно. Кто меня пускал туда, не знаю. Первая встреча с «Анной Карениной» произошла в шесть лет.

Я постоянно слушала, как отец ругает Ивана и Мусю за их дневники и двойки и расстраивается, и твердо решила: буду учиться хорошо, чтобы родители не огорчались. И стала я учиться в гимназии, и так хорошо училась – никогда у меня не было двоек. Но никто не обращал на меня внимания. Они даже на мой дневник не хотели смотреть. Я приставала к маме: «Подпиши дневник». Она говорила: «Отстань, не видишь, я занята». Потом, позднее, я стала подписывать дневник сама, никого не беспокоя. Не из деликатности, а так было проще.

Учиться мне было легко. Все ужасы русской грамматики я преодолевала не задумываясь. Никакие «яти» были мне не страшны, я на глаз примеривала, как красивее написать, так или эдак, и писала правильно, не зная почему. А исключения мы учили наизусть – это было просто и легко:

разве, инде, где, покамест,
слева, некогда, нигде,
и втройне, вчерне, в соборне,
и пешком наедине —

Все они писались через «ять», заучишь – и навсегда запомнишь.

Русский язык! Как я люблю тебя. Какое счастье уметь говорить правильно по-русски, читать и слушать, как красива русская речь! Сейчас многие говорят неправильно, небрежно – это глупо и безнравственно.

Гимназия

Вот я там писала о девочке, как она с семьей ехала в Москву. Ну, они, конечно, туда приехали. И началась совсем непохожая, другая жизнь. Надежда Федоровна определила меня в гимназию фон Дервиз, в Гороховском переулке. Это было довольно дорогое учебное заведение, вроде института. Там учились девочки живущие (пансионерки) и приходящие. Я думаю, что они были из состоятельных семей – красивые шубки, шапки. Я была одета хуже других: и пальто, и форма мои – из дешевого материала. К тому же я по-прежнему вела себя как мальчишка. В трамваях площадки были без дверей, можно было впрыгивать и спрыгивать на ходу, что я и делала. Юбка постоянно трещала и рвалась внизу.

В классе меня посадили за парту рядом с крупной девочкой, строго, гладко причесанной, с туго заплетенной косой на спине (стриженых девочек, по-моему, тогда не было). Я рядом с ней выглядела ощипанным цыпленком. Мои две косы, заплетенные над ушами, постоянно мешали, падая на парту, когда наклонишься, и казались мне жалкими рядом с ее косищей.

В дверях класса были стекла, и время от времени там появлялись лица девочек.

– Смотри, смотри! Видишь? – спрашивала меня Лена с косой.

– А чего это они смотрят на нас? – спрашивала я.

– Не на нас, а на тебя!

Действительно, было на что посмотреть: новенькая, девочка, которая приехала из Ташкента (его и на карте не сразу найдешь в Азии), да еще фамилия – Зеленая.

Это привлекало внимание чуть не всей гимназии.

А потом я стала обыкновенной, здешней, москвичкой. Мама, как было принято тогда, водила нас два раза в год в театр. Я видела Большой из ложи четвертого яруса, сияющий огнями во время антрактов, и в бинокль рассматривала Спящую красавицу из-за спин взрослых, сидящих в этой ложе. И конечно, тоже как полагалось, смотрела «Синюю птицу» с галерки Художественного театра.

А с 1914 года где-то шла страшная война с Германией. И на этом основании девочки перестали учить немецкие уроки. Я-то уж, конечно, тоже старалась не знать ничего. И бедный немец терпел такое проявление патриотизма.

Вообще, ранее существовавшие в этой гимназии строгие порядки стали уступать всеобщему, вероятно, духу времени: мы убегали с уроков, прятались в саду, дерзили классным дамам и что-то воображали. Но среднее образование все-таки получили и даже до сих пор многое помним.

Были еще в гимназии уроки рукоделия. Я категорически старалась не принимать в этом участия, взяв на себя роль усмирительницы шумящих девочек: я во время уроков читала вслух. А если меня заставляли штопать или подрубать платки и учительница рукоделия требовала, чтобы шили обязательно с наперстком, я надевала наперсток на мизинец и, отставив палец как можно дальше, шила под шепоток девчонок, восторгавшихся тем, как я остроумно решила вопрос с наперстком. Так я и не научилась ни шить, ни пришивать пуговицы. Мне всегда кажется, что они падают как созревающие плоды и помочь этому нельзя, пока они не упадут и не потеряются. Даже через сто лет, на фронте, кто-нибудь из мальчиков фронтовой бригады пришивал мне оторванный рукав или пуговицу на пальто. Да и во всех поездках, не только на фронте, чемодан укладывать мне тоже помогал кто-нибудь из друзей, чаще – мальчики, потому что я делать этого не умела. Я просто бросала все подряд в чемодан, уминала, как могла, становилась коленками на крышку (за пять минут до отъезда) и запирала замки. Если что-то торчало из-под крышки, я отрезала это ножницами.

Театральная школа

Я просто шла по улице, ни о чем не думала и увидела объявление: «Прием в театральную школу». А я даже и не подозревала, что этому учатся в школе – быть артистом. Знакомых актеров у моих родителей не было, а я тем более сроду не видала их в глаза.

Вошла в здание, как мне помнится, современное даже в сегодняшнем смысле слова. Потом я узнала, что здесь в 1898 году шли репетиции Художественного театра, К.С. Станиславский ставил спектакль «Царь Федор Иоаннович». Вот прочла я объявление, записалась, узнала, когда надо приходить. А что? Отца и маму спрашивать не надо: ведь революция – всем свобода. Никому дома ничего не сказала, пошла через день сдавать экзамен.

Было много разных юношей и девушек. Из восьмидесяти человек приняли двадцать два. И меня тоже. Я даже не знала, что на экзаменах надо читать басню, и почему-то прочла стихотворение Никитина «Выезд ямщика». Наверно, это было действительно смешно: стоит тощая девица с двумя косами и вопит от лица дюжего ямщика, уезжающего из дома:

Уж у нас, коли лень,
День и ночь спим кряду,
Коли пир – наповал,
Труд – так до упаду,

Коли ехать – катай,
Головы не жалко!
Нам без света светло,
Без дороги гладко.

Певцов и Шатрова буквально не могли удержаться от смеха и отворачивали лица. Но я ни на кого не обращала внимания. Мне было не до них. Однако чем-то я экзаменаторам понравилась.

И вот два года мы учились в школе Свободного театра и слушали лекции, танцевали босиком («пластика» – назывался предмет). Это был замечательный театр. В нем играли прекрасные актеры: Певцов, Белёвцева, Карпов, Игренев, Блюменталь-Тамарина, Радин, Шатрова, Борисов. Они были нашими учителями и педагогами. Что я на экзамене им понравилась, я узнала потом. Мне рассказали, когда я почти провалилась при переходе на второй курс. Нас занимали в спектаклях, в массовых сценах, мы знали все пьесы и роли. Я читала наизусть целые акты, реплика за репликой, передразнивая всех актеров, вместо того чтобы подумать, над чем мне самой надо работать, как выбрать отрывок для экзамена.

Наше поколение актеров – первое, учившееся уже после революции. Мы присутствовали при сотворении мира – нашего мира. Но ведь те, кто был в театре до нас, в это время тоже стали участвовать в создании нового, нашего театра.

В театральной школе многие старшие актеры, которыми мы восхищались на сцене, были нашими преподавателями и учили нас всему. Какие-то обычаи, актерские суеверия, словечки, шутки переходили от них к нам. Например, если листок с ролью (а на нем написано: «Выходит, берет письмо, уходит за кулисы») падал на пол, надо было обязательно сесть на него, чтобы не провалить роль. Так же, как старые актеры, мы мелко-мелко крестились перед выходом на сцену. Как они, постоянно разыгрывали друг друга. Но это, конечно, не было главным. Главное – мы научились у них по-настоящему, беззаветно любить и уважать театр.

Однако мы ничего не знали о жизни своих кумиров. Какие они? Как живут? Они казались нам людьми другой породы, таинственными и непонятными.

Какие-то легенды или мифы о них доходили до нас из четвертых уст, в том числе и совсем невероятные. Например, что герой-любовник О.Ф. убил в Сокольниках артистку В., жену своего друга, привез ее на извозчике в полицию и сам во всем признался. Как там все дело обошлось и было ли это вообще, мы не знали. Но, участвуя в массовой сцене на балу в «Даме с камелиями», старались пронестись в вихре вальса как можно ближе к О.Ф., чтобы разглядеть его лицо (он не был нашим преподавателем).

Старый актер Карпов, такой же непонятный, как все, нравился нам шутливыми замечаниями на занятиях. Его словами мы пользовались потом всю жизнь. Одной нашей студентке, которая излишне увлекалась мимикой, он говорил сердясь: «Я еще раз повторяю всем, что актер никогда не должен хлопотать мордой». А в следующий раз сообщил: «Я напоминаю: если вас убивают в четвертом акте, то нельзя выходить в первом уже с убитым видом».

А потом вдруг в труппе театра появился новый актер, приглашенный, по-моему, из Киева. Он – комик, не салонный, а простак. Амплуа тогда были очень точными: были герои-любовники, которым никогда не дали бы характерную роль, были бытовые старухи, инженю и «мерзавки с гардеробом» (эти «мерзавки», очевидно, были только в провинциальных театрах, куда женщина-вамп, роковая героиня, приезжала, сшибая с ног провинциальную публику своими туалетами).

Значит, появился А.П.К., довольно интересный, более понятный, попросту разговаривающий с нами, будто ровня. И наши барышни вдруг разволновались. Каждая из них считала, что это именно она привлекла внимание известного актера. А другие, менее подверженные его обаянию, высмеивали их и подслушивали все разговоры, которые А.П.К. вел за кулисами с каждой из них в отдельности, повторяя одни и те же слова:

– Завтра, на спектакле, я увижу вас опять…

Нам-то было смешно, а самая прелестная девушка, Шурочка В., полюбила А.П.К. на всю жизнь. Но это уже другая история.

Но ведь теперь и для старшего поколения актеров все вокруг менялось. И наши «сверхчеловеки», например Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина или Певцов, приезжали иногда в театр прямо с концерта с полбуханкой черного хлеба в руках или с березовым поленом, полученными как гонорар, и очень гордились этим. Иные к этому времени уже уехали из России навсегда (Мозжухин, Лысенко, Рунич и другие).

Наши кумиры до и после спектаклей ездили выступать в шефских концертах в воинские части и на заводы (вот как давно родилась эта традиция!). И нас, студийцев, отправили на фронт, под Царицын. Мы играли там перед красноармейцами, и всех пришлось запихнуть в грузовики посредине «Женитьбы Белугина», чтобы срочно отправить на пароход, так как белые наступали. Наш пароходишко уходил под отдаленный гул орудий.

Но тогда вся обстановка, само время ставили нас в совершенно другие условия. Было очень голодно, холодно, и были мы уже не «особенными людьми», а просто мальчишками и девчонками, влюбленными в театр, безо всякой почвы под ногами, даже без стипендии.

Театр «Крот»

Одна тетка сказала мне, что здесь, в Одессе, существует группа людей, увлеченных театром, – любителей. Собственно говоря, это была не тетка, а певица. Она жила рядом с нами, играла на рояле и пела, довольно громко. Нас приютила ее родственница, и мы жили втроем: я, мама и сестра – в почти пустой комнате с голыми окнами. Но был стол, и на чем-то мы спали. В городе не было воды, возили воду из порта в бочках и продавали. Стояла необычная для юга холодная весна, как на севере.

Давно я стала главой семьи, хотя в этом чужом, непонятном городе работы у меня не было. Здесь был голод. Помочь нам не мог никто.

Тогда, в поезде, когда мы все-таки доехали до Одессы, маме предложили приютить нас на время ехавшие вместе с нами чужие люди. Они узнали от мамы, что в Одессе нас никто не встретит. Со мной не советовались: меня вынесли из вагона в тифу, без сознания. Пока я болела, эти добрые люди помогли найти адрес отца.

Оказалось, отец был уже не один. Он по дороге тоже заболел тифом в Киеве, и его спасла какая-то женщина, видно, одинокая, потому что, когда он смог двигаться дальше к месту своего назначения, она, бросив все, поехала за ним. Им дали в Одессе комнату. Отец уже приступил к работе и восстанавливал вещевые склады для армии: перед уходом белые разорили и разрушили все, что не могли увезти с собой.

Когда отец узнал, что мы приехали к нему, он ужаснулся: ведь совсем скоро его должны командировать дальше и дальше. Насчет Елены Степановны отец не беспокоился: ведь он ее предупредил, что у него семья.

Но мама решила все быстро и по-своему. Она сказала мне:

– Ну и прекрасно. Он уедет с Еленой Степановной, а я останусь с вами здесь.

Комнату мы к этому времени нашли. И вот мы оказались без отца и неизвестно зачем в этом городе. Ни денег, ни еды. Надо было служить, чтобы получать паек. Но как и где служить, я совсем не знала. И искать работу в такой холодище просто невозможно: плюс два в Одессе с пронизывающим ледяным ветром были холоднее, чем минус двадцать в Москве. Неистовый ветер сбивал с ног, особенно слабых и голодных. В нашей комнате, как во всем городе, отопление не работает и укрываться нечем. Вот мы ложимся спать. Я лезу в ледяную постель, покрываюсь простыней, кладу сверху юбку, кофточку, шарфик и поверх всего галстук, чтобы насмешить сестру и маму: они уже лежат, и им холодно. Тогда я вдруг вскакиваю голая, хватаю испанский веер (его мама не забыла взять из Москвы) и начинаю бешеную пляску, прыгая, как кошка, и обмахиваясь веером. Они хохочут, как в цирке. После этой гимнастики мне действительно становится тепло, я кладу на себя сверху еще газету и засыпаю.

Однако я попросила свою певицу точнее узнать, нельзя ли мне повидать кого-нибудь из этой группы любителей. И она помогла мне встретиться с ними.

Я тогда не представляла, каким будет это знакомство…

А весна ворвалась в город как бешеная. Все преобразилось. На улицах расцвели каштаны. Цветы на них, оказывается, как огромные белые свечи. Солнце сияет.

Потом выяснилось, что тут есть Черное море. И есть знаменитый бульвар и лестница, которую сегодня знает весь мир, она в картине «Броненосец “Потемкин”». А я о ней не знала и нашла совершенно нечаянно, возле Дюка Ришелье. Ведь тогда никто не водил меня по городу – у меня не было ни одного знакомого человека.

И все-таки я попала к тем людям, с которыми хотела встретиться. Я пришла на красивую улицу, в красивый дом, в запущенную роскошную квартиру, которая, видно, не убиралась с семнадцатого года. Красивые, настоящие вещи, мягкая плюшевая мебель, картины были для меня как декорация в театре. До сих пор я никогда не видела таких квартир. Огромные

вазы особенных форм на полу, столы и столики неизвестного мне назначения – это были предметы роскоши. Мне не приходилось раньше интересоваться ими, потому что я ничего не знала об их существовании. И люди здесь были другие совсем: молодые, они были образованными, умными в разной степени, воспитанными и демократичными. Их, совсем разных, объединяла любовь к театру, к сцене. Уже давно, многие годы, у себя в домах они устраивали спектакли. Сами писали пьесы или переводили в стихах и прозе, делали костюмы, пели, танцевали для своих друзей и знакомых. Теперь они хотели показывать эти спектакли зрителям, всем желающим.

Конечно, это были первые новые люди, с которыми я встретилась в своей короткой жизни. Они думали иначе, видели иначе, чем я и все, кто меня окружал до сих пор. Со многими из них потом дружба, творческая и личная, длилась долгие годы или всю жизнь.

Я, со своей круглой, обритой после тифа головой, сразу подошла им, и они мне – тоже. Вот, оказывается, зачем я ехала сюда так долго: мне нужно было, значит, играть в пьесах Козьмы Пруткова, а не Ибсена, «червонную двойку в революционной колоде карт», а не «Дети Ванюшина», нужно было петь, танцевать, переодеваться каждую минуту, играя по пять ролей в один вечер. Для меня перестали существовать голод и холод. Целые дни надо было работать, чтобы менять программу каждую неделю. Репетиции, спектакли – ведь зрители платили деньги, которые делились между всеми. Пусть самые маленькие деньги, заработанные мной и сестрой на восьмушку хлеба, но деньги.

Сестра тоже нашла свое место в этом театрике – как балерина. В свое время в Москве мама не зря отдала ее в платную балетную школу Нелидовой. Конечно, потихоньку от отца, который определил Зинаиду учиться в Епархиальную гимназию при Скорбященском монастыре, красное кирпичное здание которого и сегодня стоит на Новослободской улице. Сестра не стала ни монахиней, ни балериной и успешно работала актрисой, долго – в «Синей блузе», а затем в «Кривом Джимми» в Москве и в Театре сатиры.

В 20-е годы не только в Одессе – повсюду рождались маленькие театры. Они ждут своих исследователей, и я расскажу потом о тех из них, где мне довелось работать. Эти театрики появились одновременно в Москве, Харькове, Петрограде. В них самые молодые актеры играли рядом со старыми. Они возникали и расцветали, имели успех. Потом их прихлопывали какие-то досужие рачители искусства. Защитников не находилось. Тут с Большими и Малыми театрами было не управиться.

В нашем театре никто никого не назначал, но как-то складывалось само собою, что у всех были свои обязанности и амплуа. Рабочим сцены, например, была Люся Гинзбург – угловатая девочка, неловкая, умная до такой степени, что сейчас она доктор филологических наук, профессор-литературовед в Ленинграде, автор многих научных трудов. Она же на занавесе, ей же за все попадает.

Душа всей технической работы театра – Н. Блюменфельд. Она костюмер, она рабочий, художник, переводчик, портниха, парикмахер, козел отпущения и машинистка. Кроме того, она жена нашего главного режиссера В. Типота и актриса на выходах.

Костюмерная наша помещалась вся в одном большом сундуке. Туда вообще заталкивалось все для нашего театра, приносившееся из дома не на время, а насовсем: клетчатые лоскутья, полосатые ленты, куски материи, украденные из дома, штаны, просто отдельные бархатные рукава, цилиндры, фалды от фраков, страусовые перья, ботинки на пуговицах, шали, распоротые платья, шляпы, кружева.

В каждой программе все это служило по-разному. Сегодня это был шлейф дамы, в следующей программе – плащ палача или скатерть на столе на сцене. В случае необходимости сундук пополнялся новыми «ворованными» дома вещами.

Первый вопрос, который Надежда Германовна Блюменфельд задавала актеру: «Вы спиной к зрителям поворачиваетесь?» Если нет, ваш костюм сзади она затягивала веревкой или

куском бязи. Лицом к публике при этом вы стояли в великолепном одеянии из блестящей парчи или бархата, с бриллиантовыми застежками и короной на голове. Со сцены одетый таким образом человек уходил за кулисы, так ни разу не повернувшись спиной, и публика ничего не знала о необыкновенной изобретательности, находчивости, выдумке нашей художницы.

Мы играли царей, средневековых дам, санкюлотов, русских матрешек и французских маркиз в фижмах. Иногда костюмы делались даже целиком.

Наш режиссер Виктор Типот, химик по образованию, будущий автор первых советских оперетт «Свадьба в Малиновке», «Вольный ветер», «Сын клоуна» и других, был не только режиссером, но и автором, и завлитом, и худсоветом, хотя в худсовет входили также Вера Инбер, которая уже тогда была Верой Инбер, Е.А. Левинсон, А.Н. Фрумкин, будущий академик, известный всему миру химик.

Спектакли наши шли с большим успехом. Но так не хватало сатирического перца! Самые, вероятно, необходимые для театра, для нас люди, которые в это время начинались как сатирики, чьи биографии сейчас изучают и знают: Ю. Олеша, В. Катаев – уже уехали из Одессы, сначала в Харьков, а потом в Москву. Как странно, что мы тогда ничего не знали о них. Иногда появлялся у нас кто-то – молодые, случайные авторы, непрофессионалы. В программе был даже многосерийный детектив «Голубой брильянт» В. Инбер и В. Типота. Для каждой программы писалась новая серия. Появились попытки отразить современность: восставала против короля червей колода карт.

Театр назывался «КРОТ». Аббревиатура расшифровывается так: Конфрерия Рыцарей Острого Театра. Как полагается «кроту», театр помещался в подвале. Шли пародии на оперетты. Потом это стало для всех маленьких театров тривиальным приемом, но тут все было в первый раз, все надо было придумывать самим. Даже балет «Красная Шапочка» был, по-моему, придуман и поставлен впервые.

Вера Михайловна Инбер написала для меня и для себя маленький диалог кукол. Она была французская кукла Мариетта из Прованса, а я – русская Матрешка (по-моему, тогда Матрешка появилась впервые; зато потом – ой-ой-ой!). В финале В. Инбер пела:

Я Мариетта, родом из Прованса,
Люблю поэта Анатоля Франса.

А Матрешка, впервые заговорившая со сцены, отвечала:

А у нас есть свой поэт московский —
Владимир Владимирович Маяковский.

В. Инбер очень увлекалась своей театральной работой, ждала с нетерпением рецензий. В каждой программе она писала для себя очаровательную крошечную миниатюру. Действие всегда происходило в Вене. Действующие лица – она, Мици, и ее муж, толстый немец (всех немцев играл Митя Кесслер – впоследствии крупный инженер-энергетик в Москве. Он всегда играл туповатых и толстых персонажей в нашем театре).

Шла у нас пьеса «Ад в раю» – миниатюра в стихах В. Инбер о невыносимой обстановке, сложившейся в раю для Адама и Евы.

Какие-то вести доходили до нас из Москвы. Уже кто-то приезжал оттуда, кто-то уезжал туда. Рассказывали, что в Москве появились новые театры, новые постановки. Меня, москвичку, волновали разные противоречивые слухи. И когда в очередной раз встал вопрос о нашем театре и его существовании, я решила все-таки поехать в Москву. Это был довольно отчаянный шаг, но его надо было сделать.

Я оставила в Одессе маму и сестру и при первой же возможности села и поехала в Москву, чтобы понять, что мне делать дальше.

Москва была не та, которую я оставила.

Сверкали вымытые стекла магазинов. Витрины ломились от товаров. Открылся магазин, бывший Елисеева. В Охотном ряду на лотках лежали метровые осетры, семги, в корзинах – живая рыба, в плоских ящичках – золотые копчушки, дальше фрукты, коробки с халвой – все, чего захочет душа. Если деньги есть.

Но мне необходимо было узнать, как и что в театрах. А узнать-то у кого?

Моя старшая сестра, которая оставалась в Москве, все в той же квартире, приняла меня довольно сухо.

Фамилия

Очень нужно записать вот что: люди часто интересуются моей фамилией. Одни спрашивали, почему я выбрала такой псевдоним, а другие уверяли меня, что я родилась в Одессе и что я дочь одесского градоначальника Зеленого, поэтому у меня такая фамилия. Мне приходилось отказываться от такого родства не только потому, что одесский градоначальник в свое время был предметом насмешек для знаменитого клоуна А. Дурова, но просто потому, что у меня был свой отец, хотя и не генерал.

Отец рассказывал мне (после долгих лет разлуки, когда он стал стар и больше не работал, он приехал в Москву вместе с Еленой Степановной и уже до конца жизни был на моих руках), что в годы революции его вызвали куда-то, чтобы уточнить обстоятельства его деятельности как градоначальника Одессы и узнать, почему он не указывает этого факта в анкетах. Отец сообщил, что никогда не бывал в Одессе до революции и ему не привелось быть градоначальником.

– Как вы можете это доказать? – спросили его.

– Может быть, доказательством служит то, – ответил, подумав, отец, – что одесский градоначальник Зеленый давно умер, а я чувствую себя прекрасно.

И его отпустили.

Так что фамилия у меня своя собственная. А вот имя – Рина, которое ни в ком не вызывает сомнений, оно ненастоящее, оно уменьшительное и является половинкой моего полного имени Екатерина. Когда писали первую афишу, на ней мое длинное имя не поместилось, только – Рина. И почему-то это сразу оказалось коротко и удобно. И так и осталось. А маленькие дети очень часто считали и считают, что это одно целое слово: РИНАЗЕЛЕНАЯ. Так и пишут каракулями в своих письмах. И я себя тоже так рассматриваю.

Когда начиналась наша театральная жизнь, на афишах писали имя, отчество и фамилию. У меня получились имя и фамилия. Потом это стало модой – писать именно так. Теперь опять пишут более солидно, с отчеством.

«Нерыдай»

Уж не помню, как там все было, только опять я почему-то шла по Каретному ряду. И на самом углу Успенского переулка, где сейчас начинается территория сада «Эрмитаж», увидела странную вывеску. Яркая, нарядная и нелепая, она нахально лезла в глаза: Театр «Нерыдай». Как будто прямо для меня написано: «Не рыдай!» – я шла растерянная, подавленная, чуть не плача. Приехала, кажется, домой, а чувствую себя совсем чужой. Город шумит, везде торгуют, несутся рысаки-дутики (экипажи у них на дутых, как у велосипедов, шинах), мчатся автомобили, все освещено, всюду рекламы горят. И это после омертвевшей, еще не оттаявшей Одессы. И вдруг – «не рыдай». Ладно, посмотрим.

И вот, представьте себе, не прошло и нескольких дней, а я уже служу в этом театре, будто тут только меня и ждали.

Все кругом необычно, непривычно. «Нерыдай» – ночное кабаре. Царствует нэп. Тут лучший повар, тут изумительно кормят. Нам, артистам, по-моему, тоже полагался ужин. Это было очень уместно и вкусно. Повара, оставшиеся после отъезда Рябушинских, Морозовых, Зиминых, Игнатьевых и прочих, еще вчера бывшие не у дел, вдруг неожиданно стали главными действующими лицами. Их переманивали из ресторана в ресторан. «Савой», «Аврора», «Националь», «Ампир», «Большая Московская», «Прага», «Яр», «Метрополь», «Астория», погребки, подвальчики открывались один за другим, а повара ценились на вес золота (буквально). Впоследствии многие из них перекочевывали за границу, открывали рестораны во всех столицах мира, и вместе с ними туда переехала «русская кухня».

Повар в «Нерыдае», нестарый человек с голубыми задумчивыми глазами и русой, русской, аккуратно подстриженной бородой, говорил мне, когда я после выступления выходила во дворик посидеть отдышаться на скамейке:

– Ну, дорогая, сегодня я вас угощу ужином! Пальчики оближете! Обратите особое внимание – пирожки с нутром телка.

Действительно, до сих пор помню. Посетителям попасть ночью в кабачок «Нерыдай», несмотря на высокие цены, было не так просто. Зал здесь не такой большой, как в ресторанах, поэтому столы стояли довольно тесно. Половые в белых рубахах и штанах ловко сновали между столиками, мгновенно и точно выполняя все требования. На стенах, расписанных в русском стиле, лубочные картинки. Против сцены в стене находилась директорская ложа Кошевского, сделанная в виде большой русской печи. Туда он мог посадить сколько угодно своих фаворитов и знакомых. А вдоль стены шли отгороженные друг от друга невысокими перегородками ложи завсегдатаев.

Особое место в зале занимал актерский стол, длинный, человек на двадцать, с лавками вместо стульев. Меню было особое, недорогое и вкусное. Стол предназначался для избранных – артистов, художников, писателей.

Так как мест не хватало (прибегали актеры изо всех театров), иногда надо было даже записываться в очередь. Многие из посетителей хотели бы посидеть за этим столом. Здесь царило неудержимое веселье. Читались эпиграммы, новые стихи, пересказывались театральные сплетни.

В «Нерыдае» была не только отличная кухня, но и театр. Мы, актеры, сквозь дырочку в кулисах или на заднике (где был изображен огромный самовар и чашки) могли видеть весь зал. Артисты смотрят, видят за отдельным столиком своих друзей. А рядом богачи-нэпманы едят стерлядь в белом вине, паштет из дичи, соус кумберленд, с аппетитом хрустят косточками рябчиков в сметане, глотают удивительные расстегаи с визигой и в то же время сворачивают шеи, чтобы получше разглядеть знаменитых писателей или художников, сидящих в зале. Зал ярко освещен: и со сцены можно увидеть каждого, и в зале все видят друг друга.

Во время танцевальных и музыкальных номеров публика продолжает жевать, разговаривать и звенеть бокалами. Выходят куплетисты. Жующие начинают прислушиваться. Постепенно замолкают, слушают и смеются все. Куплеты острые, злободневные.

Театр-кабачок «Нерыдай» придумал А.Д. Кошевский, комик петроградской оперетты, видно, деловой человек, который сразу понял, как делать деньги и что сейчас нужно. Кошевский создал этот театр по своему вкусу. Он и антрепренер, и художественный руководитель, и, разумеется, платит за все авторам и актерам он.

Но уже немного погодя само время и новые люди – актеры и авторы – вносили свое и иногда брали над Кошевским верх. Споры велись постоянно.

Второй человек в кабаре «Нерыдай» после А.Д. Кошевского – первый во всем и старший – Георгий Баронович Тусузов, впоследствии известный актер Театра сатиры и кино. В «Нерыдае» Тусузов конферировал вместе с М.С. Местечкиным.

Днем Кошевский сидел в пустом зале и смотрел репетиции. Конечно, ведь все зависело от него. Когда он был недоволен или чем-то возмущен, то хватал лежащую перед ним на столе коробку с папиросами «Сафо» или «Самородок» и сжимал ее в кулаке так, что ломались с треском и коробка, и папиросы. Это был отработанный прием, признак величайшего гнева. И все делали вид, что трепещут.

А потом умный Тусузов, видя, что Кошевскому самому жалко сломанных папирос, придумал выход: он подсовывал ему пустые коробки, которые так же хорошо трещали, и их хватало до конца репетиции.

Когда актеры и авторы продолжали гнуть свою линию и делать репертуар более острым, ядовитым, критическим, Кошевский сопротивлялся как мог: «Нерыдай» и так имел успех – Кошевский получал деньги.

Вот тут мы и начали работать. Здесь я впервые увидела Игоря Ильинского. Он прелестно танцевал под бравурнейший мотив полечки, выделывая невероятные антраша. Крутя ногами и подкидывая свою партнершу, он ритмично и бешено-весело пел:

Давайте лучше танцевать, мой друг!
Мне ваши речи слушать недосуг!
К чему слова такие?
Их слышу не впервые… – и т. д.

В «Нерыдае» работали Егор Тусузов, Михаил Гаркави, Марк Местечкин. И мы начали перекраивать обычаи кабачка, делая программу не для жующих, а для тех, кто приходил смотреть нас.

Рядом, в «Эрмитаже», на открытой сцене в программе шел иностранный номер «Угадывание мыслей на расстоянии мадам Дюкло». Он пользовался неизменным успехом. В «Нерыдае» очень быстро была создана пародия: «Отгадывание мыслей на расстоянии мадам Дупло». Сеанс ведет «профессор» (артист М. Местечкин). Это было действительно страшно смешно. «Профессор» Местечкин подходил к присутствующим в зале, задавал вопросы, а мадам Дупло с завязанными глазами (артист Г. Тусузов), зная заранее, к кому он подойдет, отвечала быстро и точно. Ну, например:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.